

- ³ Цит. по: Шлюмбом Ю., Кром М., Зоколл Т. Микростория: большие вопросы в малом масштабе // Прошлое — крупным планом: Современные исследования по микроистории. СПб., 2003. С. 19.
- ⁴ Арефьев В. Читатель народной газеты // Русское богатство. 1898. № 12. Отд. II. С. 16–40.
- ⁵ Там же. С. 21.
- ⁶ Там же. С. 20.
- ⁷ Там же. С. 22.
- ⁸ Локтин А. А. Прогрессивные газеты в деревне и отношение к ним крестьян // Русская школа. 1907. № 2. Отд. I. С. 36–49.
- ⁹ Там же. С. 37.
- ¹⁰ Арефьев В. Указ. соч. С. 33.
- ¹¹ Селеховкин. Из дневника сельского учителя // РНУ. 1892. № 6–7. Отд. Приложения. С. 72.
- ¹² Судаков Н. Заметки: о курсе школы в глуши // РНУ. 1902. № 8–9. Отд. Приложения. С. 55.
- ¹³ Там же. С. 57.
- ¹⁴ Из воспоминаний сельской учительницы // Вестн. воспитания. 1903. № 9. Отд. I. С. 71.
- ¹⁵ Сельская воскресная школа // Народное образование. 1902. № 7–8. С. 25–29.
- ¹⁶ Дмитриев В. Школьные будни // Мир Божий. 1896. № 2. С. 45–72.
- ¹⁷ Булатов А. Кому нужна народная школа // Русская школа. 1910. № 5–6. Отд. I. С. 153.
- ¹⁸ Там же. С. 154.

*Н.В. Суржикова
(Екатеринбург)*

УРАЛЬСКИЙ ПЛЕН 1914–1917 гг. КАК ПРОСТРАНСТВО НЕФОРМАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Достаточно беглого взгляда на отечественную историю, дабы констатировать, что в Россию как страну, воевавшую практически постоянно, неизбежно возвращалась реальность военного плена. Однако российский плен времен I Мировой войны заметно отличался от своих более ранних аналогов. Мировой военный конфликт породил невиданные доселе масштабы пленения вражеских военнослужащих, а следом и их массовое вовлечение в трудовые процессы.

К концу первого года войны пленные иностранцы стали обыденной реальностью Уральского региона. По сведениям уездных исправников, к 1 августа 1915 г. в экономике края использовался труд более 22 тыс. обезоруженных солдат противника¹. К лету 1916 г. статистика уральского плена значительно подросла, достигнув показателя в более чем 50 тыс. чел., а в следующем 1917 г. преодолела планку в 70 тыс. чел.²

Формирование в регионе заметной «армии» поверженных неприятельских военнослужащих потребовало дополнительной регламентации и унификации режима и условий их содержания, что привело к созданию целого пакета соответствующих документов, подписанных пермским губернатором. Среди них — обязательное постановление от 21 февраля 1915 г. о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия для жителей Пермской губернии, правила от 27 и 28 июля 1915 г. о военнопленных, сданных на работы в частные промышленные предприятия и сельские хозяйства губернии, и дополнения к ним от 15 и 19 июля 1916 г., объявление пермского губернатора от 8 августа 1916 г., изданное по руководству правилами о военнопленных, утвержденными 6 апреля 1916 г. министром внутренних дел, по соглашению с министрами военным и земледелия, и, наконец, обязательное постановление от 8 августа 1916 г. о находящихся в пределах Пермской губернии военнопленных, не подходящих под действия обязательных постановлений от 27 и 28 июля

1915 г., с дополнениями к ним от 15 и 19 июля 1916 г.³ Принятые в развитие норм общероссийского законодательства, эти документы, с одной стороны, возлагали на предприятия, пользовавшиеся трудом пленных, всю ответственность за их материально-бытовое обеспечение, с другой — обязывали поверженных солдат противника добросовестно трудиться и запрещали предъявлять какие-либо требования администрации. Отдельно в настоящих документах рассматривался вопрос о контактах военнопленных с местными жителями. В соответствии с буквой закона, пленным воспрещались «всякие с населением разговоры, не вызываемые деловою надобностью и житейским обиходом в особенности же разговоры на политические, военные и общественные вопросы, возбуждающие смуту, тревогу и неудовольствие»⁴. В целях ограждения пленных от общения с «аборигенами», а «аборигенов» — от общения с пленными правила также запрещали несанкционированные отлучки последних с места работы и квартирования, посещения гуляний и мест развлечения, появление на улицах, в публичных местах, а также в лесу, в поле и где бы то ни было вне места работ без сопровождения конвоира или назначенного работодателем проводника, отправление писем чрез посредство третьих лиц и вообще все действия, направленные к сокрытию корреспонденции, а также попрошайничеству. Обывателям, в свою очередь, воспрещалось устраивать военнопленным какие-либо общие встречи или проводы, подавать «всякого рода подаяния, подношения и пожертвования, оказывать особые знаки внимания и ухаживания, входить с ними в праздные разговоры, знакомство и близкие отношения»⁵.

Очевидно, таким образом, что с точки зрения законодательства контакты военнопленных, реализовывавшиеся вне формальных коммуникативных каналов, иначе, как нелегитимные, трактоваться не могли. Однако они легитимировались самой жизнью, поскольку теория плена, реализованная с большим или меньшим успехом на практике, значительно отформатировалась. Плен, будучи одной из модификаций социальности, априори не мог исключать личных, неформальных внутрикоммуникативных и внешнекоммуникативных связей, образовывая тем самым альтернативную нормативной реальность, причем гораздо более реальную, нежели противостоявшая ей идеализированная проформа.

Стремясь к равновесию, как и любая другая система социальных отношений, плен противопоставил выработанной властными институтами модели искусственной геттоизации пленных модель значительно более гибкую и вариативную. Её подвижность во многом определялась тем фактом, что лингвокультурный барьер между местными жителями и военнопленными, по крайней мере, той их частью, которую составляли «братья»-славяне, не являлся непреодолимым. Вербальный контакт между населением и пленными был найден без особого напряжения, причем последняя часть коммуникантов быстро усвоила — в силу закона экономии речевых усилий — прежде всего несложные недвусмысленные слова и словообразования, нередко шокируя своими познаниями в русском языке. Так, хорват Иван Магич, работавший в августе 1915 г. вместе с другими пленными в Невьянском заводе, при разговоре со зрителем завода Гендриковым позволил себе выразить по-русски буквально следующее: «У вашего царя х..., а не денежки, посылают к фабрикантам, а у них тоже х... да п...»⁶.

Вместе с тем, режимная составляющая плена времен I Мировой войны не предусматривала концентрации пленных исключительно в заведениях лагерного типа. Ставка на максимально возможное вовлечение вражеских военнослужащих в трудовые процессы предопределила тот факт, что производство стало одной из стационарных зон непосредственного контактирования военнопленных с «аборигенами», в особенности производство сельскохозяйственное, «приспосабливаясь» к которому вчерашние враги превращались чуть ли не в членов крестьянских семей. «На рынке в г. Кургане можно увидеть такую умильную картину: австриец в крестьянском платье на возу сена или дров рядом с бабой-солдаткой приехали продавать, — сообщила своим читателям «Пермская земская неделя», — Иногда все это дело поручается одному австрийцу, а хозяйка остается дома»⁷. Неудивительно, что столь доверительные отношения своих жен с военнопленными воюющие на фронте мужья решительно не одобряли, требуя отказаться от «услуг» военнопленных по хозяйству, а вместе с тем и от размещения в домах своих осиротевших семейств «заклятого и коварного» врага⁸. Другой вариант реакции фронтовиков на в высшей степени неформальные отношения женской части населения и пленных состоял в следующем: «Согласно нашей православной религии, возбраняется мужчине с женщиной обзаводиться семейной жизнью, не принявши законного брака. Но у нас ... австрийцы живут с нашими женами совершенно без брака, даже без гражданского. Не мешало бы ... обратиться с ходатайством перед Святейшим Синодом о разрешении привести в законный брак таковых. Мы знали бы, что жены наши теперь и навсегда принадлежат австрийцам, и тем облегчили бы свои сердца. ... Мы не можем не указать, что подобная помощь семьям нашим австрийцами является для нас неизлечимой раной и гораздо лютей позиционной. Это не помощь, а расстройство, даже уничтожение семейной жизни. До сего времени нам казалось, что в плен забрали мы австрийцев, но оказалось, что австрийцы наших жен пленяют...»⁹.

Вообще было бы большим упущением не акцентировать внимание на том, что в процессе контактирования пленных и «аборигенов» женщины вели себя иначе, нежели мужчины. Достаточно небольшого количества примеров, чтобы убедиться в прямой зависимости статистики коммуникативных неудач от гендерных характеристик коммуникаторных процедур. Так, источники, посвященные использованию труда военнопленных на промышленных предприятиях, где в основном работали мужчины, значительно чаще фиксируют эксцессы с участием военнослужащих противника, нежели документы, проливающие свет на привлечение последних к сельскохозяйственным работам, осуществлявшимся, за уходом порядка 37 % мужчин в армию, селянками¹⁰. Отношения военнопленных мужчин и представительниц женской части населения российской провинции редко превращались в напряженные, что объясняется изначально более высокой степенью комформности и терпимости представительниц слабого пола, а также большей заинтересованностью коммуникантов друг в друге. Среди свидетельств эпохи мне известно лишь одно, пунктирно обозначившее альтернативу обрисованной выше перспективе. При том пострадавшей стороной в конфликте стала женщина, на помощь которой пришел вятский губернатор, лично распорядившийся о высылке германского военнопленного М. Шлегель в отдаленную часть Слободского уезда «за грубое обращение с квартирной хозяйкой»¹¹.

Характерно, что даже при изоляции пленных в пределах так называемых лагерей изоляция эта оказывалась относительной, поскольку никакой колючей проволоки, вышек по периметру и специально построенных барачных «городков» в подавляющем большинстве случаев она (изоляция) не предполагала. Для размещения пленных на местах воинские начальники, в чье ведение поступали отвоєвавшиеся солдаты и офицеры противника, как правило, использовали уже имевшиеся строения. Так, под лагерь военнопленных в с. Верхние Муллы Пермской губернии были арендованы частные дома Балашовой, Костарева, Рожнова и Прозоровского, а также помещение волостного земства; в Верхотурье — здание женской гимназии; в Оханске — земский арестантский дом; в Красноуфимске — казенный винный склад, дома Серебренниковой и городского общества, а также площади приготовительно-технического класса промышленного училища; в Соликамске — казенный винный склад и соляные амбры городского общественного управления; в Шадринске — здания старого городского театра и ломбарда, дома Поклевского и Усова; в Осе — дома Вышеславцевой, Дудорова, Медведева и Кудрявцева, амбары Байдина, Крылова и Горшкова, а также церковно-приходское училище; в Екатеринбурге — помещения Вознесенской и Гоголевской школ, постройки в Харитоновском саду, новый гостиниый двор, Верх-Исетский народный дом, номера Александрова и «Тихий Дон»; в Ирбите — Екатерининская школа, Москательные корпуса и корпуса Феттер-Гипкель, гостиниый двор и лучшая в городе гостиница «Ирбитское подворье», где размещались офицеры¹². Прибывая в пункт назначения, пленные тем самым не только не концентрировались в более или менее изолированных местах, они, бывало, рассредоточивались и даже расплывались так, что их внутригрупповое сообщение требовало участия третьих лиц, в качестве каковых выступали местные жители.

Формальные (=легальные) внутрикоммуникативные связи военнопленных обеспечивала переписка, правом на которую они охотно пользовались, прибегая, однако, и к передаче своих посланий через «аборигенов», и эта нелегитимная практика, безусловно, лежала уже в плоскости неформальной коммуникации. Среди «улику», свидетельствующих в пользу ее бытования, можно назвать документ, в соответствии с которым в июле 1915 г. крестьяне Вятской губернии Слободского уезда А. Исупова и Н. Ляпунов, а также Глазовского уезда О. Ляпунова были уличены в передаче писем между военнопленными Надеждинского завода и Морозковской ветки заводской железной дороги, за что незадачливые курьеры и были оштрафованы на 25 рублей каждый¹³.

Главным же средством, обеспечивавшим внутрикоммуникативные связи военнопленных, вне всякого сомнения, служили слухи, благополучно курсировавшие из одного места водворения вражеских солдат и офицеров в другое благодаря их периодическим «миграциям». То, что именно «сарафанное радио» было для военнопленных информационным источником № 1, демонстрируют жалобы, подававшиеся ими в самые разные инстанции. Обращаясь в Правление Союза Чехословацких обществ в России, чешский военнопленный Ф. Франтишек начинал свое послание вполне характерным образом: «Как мне удалось узнать, в Надеждинский заводах существует какая-то частная заводская "цензура", которая проверяет все наши письма, и заведует этим делом какой-то фельдфебель, патриот, конечно...»¹⁴. «От одного нашего товарища узнали, что от австрийского и германского Красного Креста мундиры и обувь и

др. получены для раздачи военнопленным в Пермском лагере», — писали в представительстве Шведского общества Красного Креста пленные, находившиеся в Добрянском заводе, опять-таки обнаруживая со всей очевидностью неформальную природу соевей осведомленности¹⁵.

Настоящий ажиотаж среди военнопленных, занятых на рудниках Богословского горного округа, вызвали слухи о прекращении всяких работ с 15 мая 1916 г., которые, как впоследствии выяснилось, были спровоцированы распоряжением верхотурского уездного воинского начальника о переписи военнопленных-хорватов¹⁶. Толки и кривотолки, бродившие среди военнопленных, порождались, таким образом, не только их страхами и надеждами, но и вполне реальными событиями, и в том, и в другом случаях играя роль ориентиров, принципиально важных в процессе «самоопределения» и консолидации пленных в незнакомых им условиях и труднопрогнозируемых ситуациях.

Что касается неформальных внешнекоммуникативных связей военнопленных, то их разнообразие и разнонаправленность с трудом поддаются описанию. Вопрос о том, что заставляло пленных искать общения с местным населением, и, наоборот, местное население — с пленными, не предполагает однозначного ответа. Праздное любопытство, нужда или жажда наживы, ненависть или сострадание — любой из этих мотивов мог стать основой для выбора той или иной стратегии коммуницирования. Однако на самом деле в чистом виде они вряд ли встречались, а, значит, формы и характер взаимодействия пленных и «автохтонного» населения могли определяться комбинацией сразу нескольких факторов. К примеру, весьма проблематично сказать точно, чего же было больше в действиях жительницы с. Турьинские Рудники Е.Я. Сабадаш, согласившейся стирать белье австрийского военнопленного И. Кальмана, — сострадания или чего-то еще¹⁷? Что связывало каслинскую учительницу Е. Зубареву и военнопленного офицера К. Вышку, состоявших в интимной переписке, — банальная интрижка или глубокие чувства, стоявшие женщины работы и уважения?¹⁸ Что заставило военнопленного русина Н. Ильяченко распространять среди русских рабочих, служивших вместе с ним на Уральской линии Омской железной дороги, различные слухи о неудачах русской армии и выражать восхищение действиями австро-венгерцев, а русского рабочего А. Зудова подстрекать пленных к отказу от работ с требованиями об увеличении заработной платы и улучшении питания?¹⁹ Чем руководствовались соликамский булочник Питшалкин и красноуфимский колбасник Говорко, продолжая, несмотря на ропот сограждан, продавать пленным иностранцам дефицитную провизию?²⁰

Распознавание природы неформальных отношений пленных иностранцев и «аборигенов» осложняется тем, что в личных контактах, завязываемых со стороны тех и других, основную роль играли именно личные мотивы и интересы, вскрытие которых невозможно без изучения истории личности и среды, которая ее формировала. Потому, собственно, практика неформальной коммуникации военнопленных и местных жителей оказалась содержательно настолько богатой. Она, развиваясь в континууме между противостоянием и пониманием, отторжением и принятием чужого, не знала линейного однонаправленного движения еще и потому, что исторические декорации, на фоне которых она реализовывалась, сменялись с калейдоскопической быстротой, преобразовывая как макро-, так и микроконтексты. В этой связи во-

прос о тональности взаимоотношений населения российской провинции и иностранных военнопленных, точнее вопрос о ее изменениях и, если угодно, динамике представляется весьма запутанным. Источники свидетельствуют, что плен как пространство неформальной коммуникации всегда оставался потенциально конфликтогенным, однако градус его конфликтогенности не поддается количественной оценке. Почвой для стычек между пленными и обывателями могли быть факторы самой разной «этиологии», сообразно с чем оценить степень конфликтности отношений пленных иностранцев и местных жителей, опираясь на какой-либо шкальный подход, невозможно. Так, поводом для «разборки» между охранником Николаевым и военнопленным Л. Паулем, приключившейся 24 октября 1916 г. на 581 версте Казанбургской железной дороги, послужило неудовольствие последнего отображением у пленных добытой ими непонятно где хмельной браги. Налет ватаги деревенских парней на австрийца И. Кальмана был не более чем заурядной хулиганской выходкой разнузданных молодых, закончившейся, правда, ножевым ранением пленного. Нападение обер-лейтенанта австро-венгерской армии Ю. Шорма на прапорщиков 698 пешей пермской дружины С. Кошкарева и Г. Русакова, очевидцами которого стала прогуливавшаяся по Главному проспекту г. Екатеринбурга лублика, имело своей причиной наивную уверенность пленного в возможности продолжения борьбы с врагом, даже находясь в положении беззащитного невольника²¹.

Остановилось на последнем из приведенных примеров, который, наряду с другими аналогичными или близкими к нему, наводит на мысль о том, что на эмоциональную окрашенность отношений военнопленных и местных жителей свое влияние мог оказывать фактор наличия или отсутствия у второй части коммуникантов относительно «свежего» боевого опыта. При его одностороннем наличии социализация пленных развивалась в основном мирно и значительно осложнялась при двустороннем. Не случайно гражданские и военные власти, озабоченные проблемой дисциплинирования как вражеских военнослужащих, так и местного населения, настоятельно рекомендовали при найме охранников, конвоиров и сторожей для пленных отдавать предпочтение фронтовикам. Так, пермский губернатор в циркуляре от 1 июня 1915 г. указывал на то, что среди стражников для пленных «желательно было бы иметь сторожей из числа нижних воинских чинов ... преимущественно из раненых», включая тех, «которые уволены в отпуск для поправления здоровья»²². 30 июля 1917 г. военный министр Временного правительства утвердил специальную инструкцию для командированных из состава Союза инвалидов и Комитета бежавших из плена солдат и офицеров по «окарауливанию» занятых на разных работах военнопленных²³. В октябре того же 1917 г. начальник штаба Казанского военного округа сообщил, что в скором времени в дополнение к уже проведенным мероприятиям «при уездных комиссарах будут назначены особые лица, преимущественно из числа бежавших из неприятельского плена или инвалидов, кои будут иметь постоянное наблюдение за всеми военнопленными в районе своего уезда и иметь сношение с военно-окружным начальством»²⁴. Только что вернувшиеся с передовой русские солдаты и офицеры, с одной стороны, и пленные иностранцы — с другой, по понятным причинам, с трудом находили общий язык, и их контакты редко перетекали из плоскости формальной коммуникации в плоскость доверительного дружеского общения.

Позволю себе предположить, что, несмотря на все новые и новые акции по ужесточению режима и условий плена, число коммуникативных сценариев, реализуемых военнопленными и представителями локального сообщества, с течением времени только увеличивалось, и на каждую новую попытку административного нажима приходился свой симметричный ответ. Проблема при этом состояла не в том, что властям не удалось выстроить четкую систему формальных коммуникаций и неформальных в итоге стали ее компенсационным дополнением. На бытовом уровне они воспринимались как естественное продолжение нормативных коммуникативных практик, а потому плен изначально являл собой дуалистичную реальность, в которой официально санкционированные институты и модели поведения составляли лишь верхушку айсберга. Его видимой части противостояла (или же дополняла его) невидимая часть, «утопленная» в каждодневных, а потому малоинтересных для «большой» истории плена бытовых мелочах. Проблема историизации процессов, которые протекали в этом неочевидном пространстве, всегда принадлежала и продолжает принадлежать к числу малоизученных по той простой причине, что обращение к ней исследователя ставит его перед лицом серьезных источниковедческих трудностей. Документы ретроспективного периода, как, собственно, и любого другого, отражают лишь эпизоды коммуникативного опыта, а еще чаще — только влекомые им последствия и порожденные им реакции. Расслышать голоса, разглядеть мимику и уловить жесты коммуникантов, они, к сожалению, не позволяют, что, однако, не отменяет настоящих задач, превращая их решение в захватывающий эксперимент по апробации самых оригинальных концепций и методов научного поиска.

Примечания

- ¹ Государственный архив Пермского края (ГАПК). Ф. 65. Оп. 5. Д. 140а. Л. 412 и 412 об.
- ² Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 50. Оп. 2. Д. 3184. Л. 322–324; Ф. 123. Оп. 1. Д. 3. Л. 445 об.; Систематический свод постановлений Пермского губернского земского собрания 58–62 чрезвычайных сессий и 47 очередной сессии 1916–1917 гг. Пермь, 1917. С. 120; Уральская жизнь. 1916. 24 мая.
- ³ ГАПК. Ф. 65. Оп. 3. Д. 593. Л. 87; ГАСО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 229. Л. 19; Пермские губернские ведомости. 1915. 27, 28 июля; 1916. 11 авг.; Уральская жизнь. 1916. 20, 27 авг.
- ⁴ ГАПК. Ф. 65. Оп. 3. Д. 593. Л. 87.
- ⁵ Там же.
- ⁶ ГАПК. Оп. 5. Д. 156. Л. 40.
- ⁷ Пермская земская неделя. 1915. 26 февр.
- ⁸ Зауральский край. 1915. 21 мая.
- ⁹ Пермская земская неделя. 1916. 24 апр.
- ¹⁰ Россия в мировой войне 1914–1918 года (в цифрах). М., 1925. С. 21.
- ¹¹ Зауральский край. 1914. 7 окт.
- ¹² ГАПК. Ф. 65. Оп. 3. Д. 593. Л. 1 и др.; Ф. 146. Оп. 1. Д. 146. Л. 2–22; Уральская жизнь. 1915. 11, 19, 22, 29 апр.
- ¹³ ГАПК. Ф. 65. Оп. 5. Д. 156. Л. 12, 12 об., 16.
- ¹⁴ ГАСО. Ф. 24. Оп. 20. Д. 2825. Л. 67.
- ¹⁵ ГАПК. Ф. 146. Оп. 1. Д. 21а. Л. 146–146 об.
- ¹⁶ ГАСО. Ф. 24. Оп. 20. Д. 2825. Л. 15.
- ¹⁷ ГАПК. Ф. 65. Оп. 3. Д. 593. Л. 109.
- ¹⁸ ГАПК. Ф. 214. Оп. 1. Д. 16. Л. 68–69, 101–101 об., конверт (л. 1–4 об.).
- ¹⁹ ГАПК. Ф. 65. Оп. 3. Д. 593. Л. 173; Уральская жизнь. 1915. 28 авг.
- ²⁰ ГАПК. Ф. 65. Оп. 3. Д. 593. Л. 219–221; Оп. 5. Д. 165. Л. 157, 157 об.
- ²¹ ГАПК. Ф. 65. Оп. 3. Д. 593. Л. 44–45, 110, 143–143 об.
- ²² ГАСО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 221. Л. 19.
- ²³ ГАСО. Ф. 24. Оп. 20. Д. 2825. Л. 125 об.
- ²⁴ Там же.